

КУЛЬТУРНЫЙ
СЮЙ

*В жизни, как в искусстве,
двух правд не бывает —
есть только одна правда.*

Ф.Шаляпин



*Правдивая
история
моей
жизни*

*Федор
Шаляпин*

Культурный слой

Фёдор Шаляпин

Правдивая история моей жизни

«Алисторус»

1920-1930

УДК 82-94
ББК 84(2Рос)

Шаляпин Ф. И.

Правдивая история моей жизни / Ф. И. Шаляпин — «Алисторус»,
1920-1930 — (Культурный слой)

ISBN 978-5-00180-984-5

Федор Иванович Шаляпин (1873 - 1938) - один из тех, кто стал символом России. Выдающийся оперный и камерный певец, он покорила своим искусством весь мир, прославив русскую музыкальную школу. В своих мемуарах Шаляпин пишет: «Автобиография печатается мною не в целях саморекламы, - я вполне достаточно и всюду рекламирован моею четвертьвековой работой на сценах русских и европейских театров. Я написал эти страницы для того, чтобы люди, читая их в это трудное время угнетения духа и тяжелых сомнений в силе своей, подумали над жизнью русского человека, который хотя и с великим трудом, но вылез, выплыл с грязного дна жизни на поверхность ее и оказал делу пропаганды русского искусства за границей услуги, которые нельзя отрицать». К данному изданию мемуаров приобщен также текст, продиктованный Шаляпиным во время пребывания в Америке в середине 1920-х годов, который служит логическим завершением книги. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос)

ISBN 978-5-00180-984-5

© Шаляпин Ф. И., 1920-1930
© Алисторус, 1920-1930

Содержание

Предисловие	6
Детство	7
Певчие	16
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Федор Шаляпин

Правдивая история моей жизни



© ООО «Родина»

Предисловие

Я считаю нужным предупредить читателя, что автобиография написана и печатается мною не в целях саморекламы, – я вполне достаточно и всюду рекламирован моею четвертью-вековой работой на сценах русских и европейских театров.

Я написал и печатаю правдивую историю моей жизни и не в целях самооправдания.

Мне хочется, чтоб книга моя внушила читателям несколько иное отношение к простому человеку низов жизни, возбудила бы больше внимания и уважения к нему. Я думаю, что только внимание и уважение к ближнему может создать для него те условия, в которых он, с наименьшим количеством бесполезно затраченной энергии, привнесет в жизнь наибольшее количество красивого, доброго и умного.

Вот искреннее мое желание.

Я знаю: никто не поверит мне, если я скажу, что не так грешен, как обо мне принято думать. И если порою у меня невольно вырывалась жалоба или резкое слово – я извиняюсь. Что делать? Я – человек и чувствую боль, как все.

Я написал эти, может быть, скучные страницы для того, чтоб люди, читая их в это трудное время угнетения духа и тяжких сомнений в силе своей, подумали над жизнью русского человека, который хотя и с великим трудом, но вылез, выплыл с грязного дна жизни на поверхность ее и оказал делу пропаганды русского искусства за границей услуги, которые нельзя отрицать.

Забудьте, что этого человека зовут Федор Шаляпин, и подумайте о тех сотнях и тысячах, которые по природе своей даровиты не менее Шаляпина, Горького, Сурикова и множества других, но у которых не хватило сил победить препятствия жизни, и они погибают, задавленные ею, может быть, каждый день.

На этом я кончу.

В книге моей много недосказано, о многом я нарочито умолчал. Это сделано не из желания спрятать себя, – я ведь не исповедовался, а рассказывал, это сделано по силе некоторых внешних причин, и пока я лишен возможности устранить их своей волей.

Я просил бы верить, что мне нет надобности кривить душою, прятать свои недостатки, оправдываться и вообще выставлять себя лучше, чем я есть.

Детство

...Темным вечером осени я сижу на полотах у мельника Тихона Карповича, в деревне Ометовой, около Казани, за Суконной слободой. Жена мельника, Кирилловна, моя мать, и две-три соседки прядут пряжу в полутемной комнате, освещенной неровным, неярким светом лучины. Лучина воткнута в железное держальце – светец; отгорающие угли падают в ушат с водою, и шипят, и вздыхают, а по стенам ползают тени, точно кто-то невидимый развешивает черную кисею. Дождь шумит за окнами; в трубе вздыхает ветер.

Прядут женщины, тихонько рассказывая друг другу страшные истории о том, как по ночам прилетают к молодым вдовам покойники, их мужья. Прилетит умерший муж огненным змеем, рассыплется над трубою избы снопом искр и вдруг явится в печурке воробышком, а потом превратится в любимого, по ком тоскует женщина.

Целует она его, милует, но когда хочет обнять – он просит не трогать его спину.

– Это потому, милые мои, – объясняла Кирилловна, – что спины у него нету, а на месте ее зеленый огонь, да такой, что коли тронуть его, так он сожжет человека с душою вместе...

К одной вдове из соседней деревни долго летал огненный змей, так что начала вдова сохнуть и задумываться. Заметили это соседи; узнали, в чем дело, и велели ей наломать лутошек в лесу да перекрестить ими все двери и окна в избе и всякую щель, где какая есть. Так она и сделала, послушав добрых людей. Вот прилетел змей, а в избу-то попасть и не может! Обратился со зла огненным конем да так лягнул ворота, что целое полотнище свалил.



Федор Иванович Шаляпин

Мать моя тоже рассказывала страшные истории, особенно памятна мне одна: в небесах у господ бога был архангел Сатанаил, воевода всего небесного воинства, и возгордился он, и стал подговаривать всех ангелов и другие чины небесные воспротивиться богу. А бог узнал об этом и низринул Сатанаила с небес, но нужно было найти в небе заместителя ему. Было там одно существо – Миха, существо шершавое, отовсюду у него – из ушей, из носа – росли волосы, но было оно доброе и бесхитростное. Только однажды оно украло у бога землю, – бог позвал его, погрозил пальцем и велел землю отдать. Миха стал вынимать ее из ушей, из ноздрей, а что было во рту спрятано – не показывает. Тогда бог сказал ему:

– Плюнь!

Плюнул Миха и – появились горы.

Так вот, прогнав Сатанаила, бог позвал Миху, да и говорит ему:

– Хоть ты и не умный, а все-таки лучше я тебя возьму воеводой небесных сил, в архистратиги. Ты не станешь мутить в небесах. И будешь ты отныне не Миха, а Михаил, Сатанаил же будет просто – сатана!

Все эти рассказы очень волновали меня; и страшно и приятно было слушать их. Думалось: какие удивительные истории есть на свете, как все жутко и просто, и какой добряк бог!

Вслед за рассказами женщины под жужжание веретен начинали петь заунывные песни о белых, пушистых снегах, о девичьей тоске и о лучинушке, жалуясь, что она неясно горит. А она и в самом деле неясно горела. Под грустные слова песни душа моя тихонько грезилась о чем-то, я летал над землей на огненном коне, мчался по полям среди пушистых снегов, воображал бога, как он рано утром выпускает из золотой клетки на простор синего неба солнце – огненную птицу.

– Поздно, пора бы уж Ивану-то прийти! – слышал я сквозь дрему голос матери.

Иван – это мой отец. Он приходил домой около полуночи, утром в семь пил чай и отправлялся в «присутствие». Слово «присутствие» пугало меня, напоминая суд, судей, а о суде я наслушался немало страшного. После я узнал, что «присутствие» – уездная земская управа, где отец служил писцом.

До управы от нашей деревни было верст шесть; отец уходил на службу к девяти часам утра, в четыре являлся домой обедать, а в семь, отдохнув и напившись чаю, снова исчезал на службу до двенадцати часов ночи.

Однажды я заметил, что прошло уже двое суток, а отец не приходил домой, и мать – в тревоге. На третьи сутки он явился пьяный, и мать встретила его слезами и упреками.

– Как теперь быть, чем станем кормиться? – спрашивала она со страхом и тоскою.

Жутко и обидно было слышать, как отец, ругая мать зазорными словами улицы, кричал:

– Отстань, убирайся к черту, дай мне жить! Надоели вы мне, я только и знаю, что работаю. Надо же и мне когда-нибудь погулять!

Тут я понял, что отец ходит в «присутствие» работать и что он пропил месячное жалованье, как делали это многие из служащих людей. Я уразумел также, что на зарплате отца построена вся наша жизнь. Это на его деньги мать покупает огурцы, картофель, делает из ржаных толченых сухарей или крошеного черствого хлеба вкусную «муру» – холодную похлебку на квасу, с луком, солеными огурцами и конопляным маслом. И это на деньги отца мать торжественно делает раз в месяц пельмени – кушанье, которое я жадно люблю и которого всегда нетерпеливо ожидаю, хотя мне известно, что его можно есть только однажды в месяц, «после 20-го».

С этой поры я стал относиться к отцу внимательнее, потому ли, что почувствовал свою зависимость от него, или потому, что был обижен и напуган его словами. А он начал выпивать все чаще и, наконец, – каждое двадцатое число.

Сначала это число проходило без ссор, только мать тихонько плакала где-нибудь в углу, а потом отец стал обращаться с нею все грубей, и, наконец, я увидел, что он бьет ее. Я завизжал,

закричал, бросился на помощь ей, но, разумеется, это ей не помогло; только мне больно попало по голове и по шее. Я отскакивал от ударов отца, кувырком катался по полу, – мне ничего не оставалось, кроме криков и слез. Случилось, что он забил мать до бесчувственного состояния, и я был уверен, что она померла: она лежала на сундуке в изодранном платье, без движения, не дыша, с закрытыми глазами. Я отчаянно заревел, а она, очнувшись, оглянулась дико и потом приласкала меня, спокойно говоря:

– Ну не плачь, ничего!

И, как всегда, наклонив мою голову на колени себе, стала избивать паразитов в волосах у меня, грустно утешая:

– Мало ли чего с пьяными дураками бывает, ты, мальчиша, не гляди на это, не гляди, родной!

После драк начиналась обычная жизнь: отец снова аккуратно ходил в «присутствие», мать пряла пряжу, шила, чинила и стирала белье. За работой она всегда пела песни, пела как-то особенно грустно, задумчиво и вместе с тем деловито.

В молодости она, очевидно, была здоровеннейшей женщиной, потому что теперь иногда жаловалась:

– Никогда я не думала, что у меня может спина болеть, что мне трудно будет полы мыть или белье стирать! Бывало, всякую работу без насады одолеешь, а теперь – меня работа одолевает!

Отцом она бывала бита много и жестоко; когда мне минуло девять лет, отец пил уже не только по двадцатое, а по «вся дни»; в это время он особенно часто бил ее, а она как раз была беременна братом моим Василием.

Жалел я ее. Это был для меня единственный человек, которому я во всем верил и мог рассказывать все, чем в ту пору жила душа моя.

Уговаривая меня слушаться отца и ее, она внушала мне, что жизнь трудна, что нужно работать не покладая рук, что бедному – нет дороги. Советы и приказания отца надобно исполнять строго, он – умный: для нее он был неоспоримым законодателем. Дома у нас, благодаря трудам матери, всегда было чисто убрано, перед образом горела неугасимая лампада, и часто я видел, как жалобно, покорно смотрят серые глаза матери на икону, едва освещенную умирающим огоньком.

А внешне мать была женщиной, каких тысячи у нас на Руси: небольшого роста, с мягким лицом, сероглазая, с русыми волосами, всегда гладко причесанными, – и такая скромная, малозаметная.

Отец мой был странный человек. Высокого роста, со впалой грудью и подстриженной бородой, он был не похож на крестьянина. Волосы у него были мягкие и всегда хорошо причесаны, – такой красивой прически я ни у кого больше не видел. Носил он рубашку, сшитую матерью, мягкую, с отложным воротником и с ленточкой вместо галстука, а после, когда явились рубашки «фантазия», – ленточку заменил шнурок. Поверх рубашки – «пинжак», на ногах – смазные сапоги, а вместо носков – портянки.

Трезвый, он был молчалив, говорил только самое необходимое и всегда очень тихо, почти шепотом. Со мною он был ласков, но иногда в минуты раздражения почему-то называл меня:

– Скважина.

Я не помню, чтобы он в трезвом состоянии сказал грубое слово или сделал грубый поступок. Если его что-либо раздражало, он скрежетал зубами и уходил, но все свои раздражения он скрывал лишь до поры, пока не напивался пьян, а для этого ему стоило выпить только две-три рюмки. И тогда я видел перед собою другого человека, – отец становился едким, он придирался ко всякому пустяку и смотреть на него было неприятно.

Мне вообще пьяные были глубоко противны, а тем более – отец. Было очень стыдно за него перед товарищами, уличными мальчишками, хотя у большинства из них отцы были тоже

горчайшими пьяницами. Я думал: в чем тут дело? Однажды я попробовал водку, – горькая, вонючая жидкость. Я понимал удовольствие пить квас, кислые щи, но зачем пьют эту отраву? И я решил, что большие пьют для храбрости, для того, чтобы скандалить. А что пьяный человек должен скандалить, это мне казалось вполне законным, неизбежным. Все пьяные скандалили.

Пьяный, отец приставал положительно ко всякому встречному, который почему-нибудь возбуждал у него антипатию. Сначала он вежливо здоровался с незнакомым человеком и говорил с ним как будто доброжелательно. Бывало, какой-нибудь прилично одетый господин, предупредительно наклонив голову, слушает слова отца с любезной улыбкой, со вниманием спрашивает:

– Что вам угодно?

А отец вдруг говорит ему:

– Желаю знать, отчего у вас такие свинячьи глаза?

Или:

– Разве вам не стыдно носить с собой такую вовсе неприятную морду?

Прохожий начинал ругаться, кричал отцу, что он сумасшедший и что у него тоже нечеловечья морда.



Иола Торнаги и Федор Шаляпин.

Ради русского гения сцены Иола оставила солнечную Италию, карьеру балерины и сосредоточилась на домашнем хозяйстве.

Обыкновенно это случалось после двадцатого числа, ненавистнейшего мне. Двадцатого числа среда, в которой я жил, поголовно отравлялась водкой и дико дебоширила. Это были дни сплошного кошмара; люди, теряя образ человеческий, бессмысленно орали, дрались, плакали, валялись в грязи, – жизнь становилась отвратительной, страшной.

Потом отец целые сутки лежал в постели и пил квас со льдом!

– Квасу!

Иных слов он не говорил в эти сутки. Лицо его было измучено, глаза безумны. Я удивлялся, как много он пьет, и хвастливо говорил товарищам, что мой отец может пить квас, как лошадь воду – ведро, два! Они не удивлялись и, кажется, верили мне.

Трезвый, отец бил меня нечасто, но все-таки и трезвый бил ни за что ни про что, как мне казалось. Помню, я пускал бумажного змея, отлично сделанного мною, с трещотками и погремушками. Змей застрял на вершине высокой березы, мне жалко было потерять его. Я влез на березу, достал змея и начал спускаться, но подо мной подломился сук, я кувырком полетел вниз, ударился о крышу, о забор и, наконец, хлопнулся на землю спиной так, что внутри у меня даже крикнуло. Пролежал я на земле с изорванным змеем в руках довольно долго. Отдохнув, пожалел о змее, нашел другие удовольствия, и все было забыто.

На другой день к вечеру отец командует:

– Скважина, собирайся в баню!

Я и теперь обожаю ходить в баню, но баня в провинции – это вещь удивительная! Особенно осенью, когда воздух прозрачен, свеж, немножко пахнет вкусным грибным сырьем и теми самыми вениками, которыми бережливые люди парились, а теперь несут под мышками домой. В темные осенние вечера, скудно освещенные керосиновыми фонарями, приятно видеть, как идут по улице чисто вымытые люди и от них вздымается парок, приятно знать, что дома они будут пить чай с вареньем. Я тем более любил ходить в баню, что после нее у нас обязательно пили чай с вареньем.

В то время отец с матерью уже переехали жить в город, в Суконную слободу.

Так вот – пришел я с отцом в баню. Отец был превосходно настроен. Разделись. Он ткнул мне пальцем в бок и зловеще спросил:

– Это что такое?

Я увидел, что тело мое расписано сине-желтыми пятнами, точно шкура зебры.

– Это я – упал, ушибся немножко.

– Немножко? Отчего же ты весь полосатый? Откуда ты упал?

Я рассказал по совести. Тогда он выдернул из веника несколько толстых прутьев и начал меня сечь, приговаривая:

– Не лазай на березу, не лазай!

Не столько было больно, сколько совестно перед людьми в предбаннике, совестно и обидно: люди страшно обрадовались неожиданной забаве; хотя и беззлобно, они гикали и хохотали, поощряя отца:

– Наддай ему, наддай! Так его, – лупи! Не жалея кожи, поживет гоже! Сади ему в самое, в это!

Вообще я не особенно обижался, когда меня били, я находил это в порядке жизни. Я знал, что в Суконной слободе всех бьют – и больших, и маленьких; всегда бьют – и утром, и вечером. Побой – нечто узаконенное, неизбежное. Но публичная казнь в предбаннике, на виду голых людей и на забаву им, – это очень обидело меня.

Позднее, когда мне минуло лет двенадцать, я начал протестовать против дебошей пьяного отца. Помню, – однажды мой протест привел его в такое негодование, что он схватил здоровенную палку и бросился на меня. Боясь, что он убьет, я, в чем был, босиком, в тиковых подштанниках и рубашонке, выскочил на улицу, пробежал, несмотря на мороз градусов в 15, два квартала и скрылся у товарища, а на другой день – все так же босиком – прискакал домой. Отца не было дома, а мать, хотя и одобрила меня за то, что я убежал от побоев, но все-таки ругнула, – зачем бегаю босиком по снегу! Как я ни доказывал ей, что некогда было мне надеть сапоги, она едва не отколотила меня.

Иногда отец, выпивши, задумчиво пел высоким, почти женским голосом, как будто чужим и странно не сливавшимся ни с фигурой, ни с характером его, – пел песню, составленную из слов удивительно нелепых:

Сиксаникма,
Четвертакма,
Тазанитма,
Сулейматма,
Уссум та.
Биштиникма!
Дыгин, дыгин,
Дыгин, дыгин!

Я никогда не решался спросить его, что значат эти исковерканные, полутатарские слова? И никогда не мог понять смысла поговорки, часто произносимой им:

– Бог епимах, возьмет на промах.

Но вообще о боге он никогда и ничего не говорил мне. В церковь он ходил редко, но молился там очень благолепно. Сосредоточенно глядя пред собою, он крестился и кланялся редко, но чувствовалось, что он твердит про себя все молитвы, какие знал. Едва ли он много знал их; я никогда не слышал, чтобы он произносил их дома, молясь «на сон грядущий» или утром. И в церкви он тоже ничего не говорил мне, а разве что давал подзатыльники, когда я, стоя рядом с ним, начинал забавляться, разглядывая, у кого какая борода, нос, глаза.

– Стой смирно, Скважина! – говорил он тихим шепотком, стукнув меня по черепу, и я тотчас же становился смиренным перед господом, делал унылое лицо верующего.

Позже, когда я служил с отцом в управе, я заметил, что у него на папке всегда была изображена могила; нарисован холмик, крест над ним, а внизу подпись: «Здесь нет ни страданий, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Несмотря на постоянные ссоры между отцом и матерью, мне все-таки хорошо жилось. В деревне у меня было много товарищей, все – славные ребята. Мы ловко ходили колесом, лазали по крышам и деревьям, делали самострелы, пускали «ладейки» – воздушных змей. Мы ходили по огородам, высыпая семена зрелого мака, ели их, воровали репу, огурцы; шлялись по гумнам, по оврагам, – везде было интересно, всюду жизнь открывала мне свои маленькие тайны, поучая меня любить и понимать живое.

Я сделал себе за огородом нору, залезал в нее и воображал, что это мой дом, что я живу на свете один, свободный, без отца и матери. Мечтал, что хорошо бы мне завести своих коров, лошадей, и вообще мечтал о чем-то детски-неясном, о жизни, похожей на сказку. Особенной радостью насыщали меня хороводы, которые устраивались дважды в год: на семик и на спаса. Приходили девушки в алых лентах, в ярких сарафанах, нарумяненные и набеленные. Парни тоже приодевались как-то особенно; все становилось в круг и, ведя хоровод, пели чудесные песни. Поступь, наряды, праздничные лица людей – все рисовало какую-то иную жизнь, красивую и важную, без драк, ссор, пьянства.

Случилось, что отец пошел со мною в город, в баню. Стояла глубокая осень, была гололедица. Отец поскользнулся, упал и вывихнул ногу себе. Кое-как добрались до дома, – мать пришла в отчаяние:

– Что с нами будет, что будет? – твердила она убито.

Утром отец послал ее в управу, чтоб она рассказала секретарю, почему отец не может явиться на службу.

– Пускай пришлет кого-нибудь увериться, что я взаправду болен! Прогонят, дьяволы, пожалуй...

Я уже понимал, что если отца прогонят со службы – положение наше будет ужасно, хоть по миру иди! И так уж мы ютились в деревенской избушке, за полтора рубля в месяц. Очень памятен мне страх, с которым отец и мать произносили слова:

– Прогонят со службы!

Мать пригласила знахарей, людей важных и жутких, они мяли ногу отца, натирали ее какими-то убийственно пахучими снадобьями, даже, помнится, прижигали огнем, но все-таки отец очень долго не мог встать с постели.

Этот случай заставил родителей покинуть деревню, и, чтобы приблизиться к месту службы отца, мы переехали в город на Рыбнорядскую улицу, в дом Лисицына, в котором отец и мать жили раньше и где я родился в 1873 году.

Мне не понравилась шумная, грязноватая жизнь города. Мы помещались все в одной комнате – мать, отец, я и маленькие брат с сестрой. Мне было тогда лет шесть-семь.

Мать уходила на поденщину мыть полы, стирать белье, – а меня с маленькими запирали в комнате на целый день с утра до вечера. Жили мы в деревянной хибарке, и – случись пожар, – запертые, мы сгорели бы. Но все-таки я ухитрился выставлять часть рамы в окне, мы все трое вылезали из комнаты и бегали по улице, не забывая вернуться домой к известному часу. Раму я снова аккуратно заделывал, и все оставалось шито-крыто.

Вечером, без огня, в запертой комнате было страшно, особенно плохо я чувствовал себя, вспоминая жуткие сказки и мрачные истории Кирилловны, – все казалось, что вот явится баба-яга или кикимора. Несмотря на жару, мы все забивались под одеяло и лежали молча, боясь высунуть головы, задыхаясь. И когда кто-нибудь из троих кашлял или вздыхал, мы говорили друг другу:

– Не дыши, тише!

На дворе – глухой шум, за дверью – осторожные шорохи... Я ужасно радовался, когда слышал, как руки матери уверенно и спокойно отпирают замок двери.

Эта дверь выходила в полутемный коридор, который был «черным ходом» в квартиру какой-то генеральши. Однажды, встретив меня в коридоре, генеральша ласково заговорила со мною о чем-то и потом осведомилась, – грамотный ли я?

– Нет.

– Вот, заходи ко мне, сын мой будет учить тебя грамоте!

Я пришел к ней, и ее сын, гимназист лет шестнадцати, сразу же, – как будто он давно ждал этого, – начал учить меня чтению. Читать я выучился довольно быстро, к удовольствию генеральши, и она стала заставлять меня читать ей вслух по вечерам. Но тут началось что-то необъяснимое: прочитав страницу, я никак не мог сообразить, – куда перевернуть ее? Пере-кладывал ее туда, сюда и снова начинал читать только что прочитанное. Генеральша очень убедительно объясняла, как следует перевертывать страницы книг, мне казалось, что я усвоил эту мудрость, но, дойдя до последней строки, снова почему-то перевертывал левую страницу назад, а правую – дважды, так, что она ложилась перед моими глазами прочитанной стороной.

Однажды генеральшу рассердила эта странность и, в сердцах, дама обругала меня болваном. Но и это не помогло ей: дочитав страницу до конца, я все-таки не знал, куда ее повернуть, и горько разрыдался. Мне кажется, что ни раньше, ни после я не плакал так горестно. Эти слезы, видимо, тронули генеральшу, и она сказала мне:

– Довольно читать!

С той поры я перестал ходить к ней.

Вскоре мне попала в руки сказка о Бове Королевиче, – меня очень поразило, что Бова мог простою метлой перебить и разогнать стотысячное войско.

«Хорош парень! – думал я. – Вот бы мне так-то!»

Возбужденный желанием подвига, я выходил на двор, брал метлу и яростно гонял кур, за что куровладельцы нещадно били меня.

Читать нравилось мне, и я прочитывал всякую печатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв поминанье, я прочитал в нем:

«О здравии: Иераксы, Ивана, Евдокии, Феодора, Николая, Евдокии...»

Иван и Евдокия – отец, мать; Федор – это я. Николай и Евдокия брат и сестра. Но что такое – Иераксы?

Неслыханное имя казалось мне страшным, носителя его я представлял себе существом необыкновенным, – наверное, это разбойник или колдун, а может быть, и еще хуже...

Набравшись храбрости, я спросил отца:

– Папа, это кто – Иераксы?

Отец рассказал мне кратко и памятно:

– До восемнадцати лет я работал в деревне, пахал землю, а потом ушел в город. В городе я работал все, что мог: был водовозом, дворником, пачкался на свечном заводе, наконец, попал в работники к становому приставу Чирикову в Ключищах, а в том селе, при церкви, был пономарь Иеракса, так вот он и выучил меня грамоте. Никогда я не забуду добро, которое он этим сделал мне! Не забывай и ты людей, которые сделают добро тебе, – не много будет их, легко удержать в памяти!



*Императорский Мариинский театр.
Санкт – Петербург. 19 век.*

Вскоре после этого пономарь Иеракса был переписан отцом со страницы «О здравии» на страницу «О упокоении рабов божиих».

– Вот, – сказал отец, – я и тут в первую голову поставлю его!

Иногда, зимою, к нам приходили бородатые люди в лаптях и зипунах; от них крепко пахло ржаным хлебом и еще чем-то особенным, каким-то вятским запахом: его можно объяснить тем, что вятичи много едят толокна. Это были родные отца – брат его Доримедонт с сыновьями. Меня посылали за водкой, долго пили чай, разговаривая об урожаях, податях, о том, как трудно жить в деревне; у кого-то за неплатеж податей угнали скот, отобрали самовар.

– Трудно!

Это слово повторялось так часто, звучало так разнообразно. Я думал:

«Хорошо, что отец живет в городе и нет у нас ни коров, ни лошадей и никто не может отнять самовар!»

Однажды я заметил, что отец и мать страшно обеспокоены и все шепчутся, часто упоминая слово «прокурор», – слово, показавшееся мне таким же страшным, как Иеракса.

– Это что – прокурор? – спросил я мать; она объяснила:

– Прокурор побольше, чем губернатор!

А о губернаторе я уже знал кое-что: при мне отец рассказывал соседям у ворот:

– Губернатор был Скарятин. Вот приехал он, разложил всю деревню на улице да как начал сам стегать всех нагайкой!

Теперь, услышав, что прокурор еще больше губернатора, я, вполне естественно, стал думать и ждать, что прокурор разложит по улицам весь город и собственноручно выпорет его. Тут и мне достанется в числе прочих.

Но оказалось, что дело проще: младшая сестра моей матери была кем-то украдена и продана в публичный дом, а отец, узнав это, хлопотал у прокурора об ее освобождении из плена. Через некоторое время в комнате у нас появилась тетка Анна, очень красивая, веселая хохотушка, неумолчно распевавшая песни. Я начал понимать, что не все в жизни так страшно, каким кажется сначала, пока не знаешь.

На дворе у нас работали каменщики и плотники; я таскал им писчую бумагу на курево, а они, свертывая собачью ножку, предлагали мне:

– Курни, это очищает грудь!

Едкий, зеленоватый дым махорки не нравился мне. Но – все надо знать! Я взял собачью ножку и курнул!

Меня стошнило; испытывая отчаянные приступы рвоты, я философски думал:

«Вот оно, – как прочищают грудь!»

По праздникам каменщики и плотники напивались до безумия, устраивали драки; отец тоже пировал и скандалил с ними. Это неприятно удивляло меня: отец – не чета им; он одет благородно, у него галстук крученой веревочкой, а те – совсем простые. Не подобало бы ему пьянствовать с ними...

У домохозяина, купца Лисицына, одна из дочерей играла на фортепьяно, – эта музыка казалась мне небесной. Сначала я думал, что девица играет на обыкновенной шарманке, то есть просто вертит ручку, а музыка делается сама собою внутри ящика; но вскоре я узнал, что хозяйская дочь выколачивает музыку пальцами.

«Это – ловко! – думал я. – Вот бы этак-то научиться!»

И вдруг, – как по шучьему велению! – случилось, что кто-то на нашем дворе разыгрывал в лотерею старинный клавесин; отец с матерью взяли для меня билет за 25 копеек, и я выиграл клавесин! Я безумно обрадовался, уверенный, что теперь научусь играть, но каково же было мое огорчение, когда клавесин заперли на ключ и, несмотря на мои униженные просьбы, не позволяли мне даже дотронуться до него.

Даже когда я подходил к инструменту, взрослые строго кричали:

– Смотри, – сломаешь!

Зато, когда я захворал, так спал уже не на полу, а на клавесине. Иногда мне казалось: что если открыть крышку да попробовать, – может быть, я уже умею играть?

Я долго возлежал на клавесине, и странно было мне: спать на нем можно, а играть нельзя! Вскоре громоздкий инструмент продали за 25 или 30 рублей.

Певчие

Мне было лет восемь, когда на святках или на пасхе я впервые увидел в балагане паяца Яшку.

Яков Мамонов был в то время знаменит по всей Волге, как «паяц» и «масленичный дед». Плотный пожилой человек с насмешливо сердитыми глазами на грубом лице, с черными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна, – «Яшка» в совершенстве обладал тем тяжелым, топорным остроумием, которое и по сей день питает улицу и площадь. Его крепкие шутки, смелые насмешки над публикой, его громовый, сорванный и хриплый голос, – весь он вызывал у меня впечатление обаятельное и подавляющее. Этот человек являлся в моих глазах бесстрашным владыкой и укротителем людей, – я был уверен, что все люди и даже сама полиция, и даже прокурор боятся его.

Я смотрел на него, разиня рот, с восхищением запоминая его прибаутки:

– Эй, золовушка, пустая головушка, иди к нам, гостинца дам! – кричал он в толпу, стоявшую пред балаганом.

Расталкивая артистов на террасе балагана и держа в руках какую-то истрепанную куклу, он орал:

– Прочь, назём, губернатора везём!

Очарованный артистом улицы, я стоял пред балаганом до той поры, что у меня коченели ноги и рябило в глазах от пестроты одежды балаганщиков.

– Вот это – счастье, быть таким человеком, как Яшка! – мечтал я.

Все его артисты казались мне людьми, полными неистощимой радости; людьми, которым приятно паясничать, шутить и хохотать. Не раз я видел, что, когда они вылезают на террасу балагана, – от них вздымается пар, как от самоваров, и, конечно, мне в голову не приходило, что это испаряется пот, вызванный дьявольским трудом, мучительным напряжением мускулов.

Не решусь сказать вполне уверенно, что именно Яков Мамонов дал первый толчок, незаметно для меня пробудивший в душе моей тяготение к жизни артиста, но, может быть, именно этому человеку, отдавшему себя на забаву толпы, я обязан рано проснувшимся во мне интересом к театру, «к представлению», так непохожему на действительность. Скоро я узнал, что Мамонов – сапожник и что впервые он начал «представлять» с женою, сыном и учениками своей мастерской, из них он составил свою первую труппу. Это еще более подкупило меня в его пользу – не всякий может вылезть из подвала и подняться до балагана! Целыми днями я бродил около балагана и страшно жалел, когда наступал великий пост, проходила пасха и фомина неделя, – тогда площадь сиротела, парусину с балаганов снимали, обнажались тонкие деревянные ребра, и нет людей на утоптанном снегу, покрытом шелухой подсолнухов, скорлупой орехов, бумажками от дешевых конфет. Праздник исчез, как сон. Еще недавно все здесь жило шумно и весело, а теперь площадь – точно кладбище без могил и крестов.

Долго потом мне снились необычные сны: какие-то длинные коридоры с круглыми окнами, из которых я видел сказочно красивые города, горы, удивительные храмы, каких нет в Казани, и множество прекрасного, что можно видеть только во сне и в панораме.

Мы переехали в Татарскую слободу, в маленькую комнатку над кузницей, – сквозь пол было слышно, как весело и ритмично цокают молотки по железу и по наковальне. На дворе жили колесники, каретники и, дорогой моему сердцу, скорняк. Летом я спал в экипажах, которые привозили чинить, или в новой, только что сделанной карете, от которой вкусно пахло сафьяном, лаком и скипидаром.

Скорняк был черноволосый и черноглазый человек с восточным лицом – он давал мне работу: раскладывать по крыше для просушки разные меха и потом выколачивать их тонкими, гибкими палочками, за что он платил мне пятак. Это было большое богатство и счастье для

меня. За две копейки я мог идти в купальню на озеро Кабан, где во «дворянском» отделении я плавал до того, что от холода становился синим, точно плотва. Брата и сестру мне нельзя было брать с собой на озеро, они еще маленькие; брат – живой мальчуган, веселый и способный, а сестренка – тихая, задумчивая, я звал ее «нюня». На заработанные мною деньги я покупал им халву, и мы лакомились, вонзая молодые зубы в белую массу каменной твердости. Было забавно, когда эта странная штука крепко сцепит челюсти, а потом становится вязкой, как сапожный вар, и тает, наполняя рот молочной сладостью и мелом.

Помню веселого кузнеца, молодого парня, он заставлял меня раздувать мехи, а за это выковывал мне железные плитки для игры в бабки. Кузнец не пил водки и очень хорошо пел песни, забыл я имя его, а он очень любил меня, и я его тоже. Когда кузнец запевал песню, мать моя, сидя с работой у окна, подтягивала ему, и мне страшно нравилось, что два голоса поют так складно. Я старался примкнуть к ним и тоже осторожно подпевал, боясь спутать песню, но кузнец поощрял меня:

– Валяй, Федя, валяй! Пой, – на душе веселей будет! Песня, как птица, – выпусти ее, она и летит!

Хотя на душе у меня и без песен было весело, но – действительно – бывая на рыбной ловле или лежа на траве в поле, я пел, и мне казалось, что когда я замолчу, песня еще живет, летит.

Однажды я, редко ходивший в церковь, играя вечером в субботу неподалеку от церкви св. Варлаамия, зашел в нее. Была всенощная. С порога я услышал стройное пение. Протискался ближе к поющим, – на клиросе пели мужчины и мальчишки. Я заметил, что мальчишки держат в руках разграфленные листы бумаги; я уже слышал, что для пения существуют ноты, и даже где-то видел эту линованную бумагу с черными закорючками, понять которые, на мой взгляд, было невозможно. Но здесь я заметил нечто уже совершенно недоступное разуму: мальчишки держали в руках хотя и графленую, но совершенно чистую бумагу, без черных закорючек. Я должен был много подумать, прежде чем догадался, что нотные знаки помещены на той стороне бумаги, которая обращена к поющим. Хоровое пение я услышал впервые, и оно мне очень понравилось.

Вскоре после этого мы снова переехали в Суконную слободу, в две маленькие комнатки подвального этажа. Кажется, в тот же день я услышал над головой у себя церковное пение и тотчас же узнал, что над нами живет регент и сейчас у него спевка. Когда пение прекратилось и певчие разошлись, я храбро отправился наверх и там спросил человека, которого даже плохо видел от смущения, – не возьмет ли он и меня в певчие? Человек молча снял со стены скрипку и сказал мне:

– Тяни за смычком!

Я старательно «вытянул» за скрипкой несколько нот, тогда регент сказал:

– Голос есть, слух есть. Я тебе напишу ноты – выучи!

Он написал на линейках бумаги гамму, объяснил мне, что такое диез, бемоль и ключи. Все это сразу заинтересовало меня. Я быстро постиг премудрость и через две всенощные уже раздавал певчим ноты по ключам. Мать страшно радовалась моему успеху, отец остался равнодушен, но все-таки выразил надежду, что если я буду хорошо петь, то, может быть, приработаю хоть рублевку в месяц к его скудному заработку. Так и вышло: месяца три я пел бесплатно, а потом регент положил мне жалованье – полтора рубля в месяц.



*Федор Шаляпин с женой Иолой Шаляпиной.
Нижний Новгород, 1903 г.*

Регента звали Щербинин, и это был человек особенный: он носил длинные, зачесанные назад волосы и синие очки, что придавало ему вид очень строгий и благородный, хотя лицо его

было уродливо изрыто оспой. Одевался он в какой-то широкий халат без рукавов, крылатку, на голове носил разбойничью шляпу и был немногоречив. Но, несмотря на все свое благородство, пил он так же отчаянно, как и все жители Суконной слободы, и так как он служил писцом в окружном суде, то и для него 20-е число было роковым. В Суконной, больше чем в других частях города, после 20-го люди становились жалки, несчастны и безумны, производя отчаянный кавардак с участием всех стихий и всего запаса матерщины. Жалко мне было регента, и когда я видел его дико пьяным, душа моя болела за него.

Однажды приказчики купца Черноярова, устраивая по какому-то случаю вечер в доме своего хозяина, предложили Щербинину дать им мальчиков-певцов; регент выбрал меня и еще двоих. Втроем мы стали ходить к приказчикам на спевки; там нас угощали печеньем и чаем, в который можно было класть сахара, сколько душа желала. Это было замечательно, потому что дома и даже в трактире, куда мы, мальчики, заходили между ранней и поздней обеднями, чай пить можно было только «вприкуску», а не «внакладку». А у приказчиков клади сахара в стакан хоть по пяти кусков! И сами они были ребята славные, говорили с нами ласково, угощали радушно. На вечер к ним явились какие-то важные барыни, купцы, господа. Было светло, радостно и вообще незнакомо мне хорошо. Мы спели трио, которое начиналось словами:

Мрачны ночи,
Смертных очи...

Помнится, это называлось «гимн рождеству».

Вследствие каких-то непонятных причин хор Щербинина распался, и регент принужден был прекратить свою деятельность. Это, видимо, угнетало его, он запил еще жестче. Пьяный, звал меня к себе, брал скрипку, и втроем – он, скрипка и я – мы пели, иногда так хорошо, что даже плакать хотелось от какой-то радости. После этого он уходил в кабак, а возвращаясь, снова звал меня петь. Не помню, чтоб он говорил мне что-либо значительное или учил меня, но, видимо, я ему нравился так же, как и он мне. Это был человек одинокий, угрюмый, должно быть один из тех редких русских людей, которые страдают молча и слишком горды для того, чтобы жаловаться на судьбу. Однажды под вечер он позвал меня и сказал:

- Пойдем!
- Куда?
- Всенощную петь.
- Где? С кем?
- Вдвоем.

И мы пошли по буеракам, мимо кирпичных сараев на Арское поле в церковь Варвары-великомученицы, где и спели всю всенощную в два голоса, дискантом и басом, а наутро в той же церкви пели обедню. Так, вдвоем, мы ходили петь по разным церквям долго, до поры, пока Щербинин не поступил в Спасский монастырь регентом архиерейского хора. Здесь я стал исполнителем, получая уже не полтора, а шесть рублей в месяц. Это был большой заработок, а кроме того, я зарабатывал на свадьбах, похоронах и молебнах. Деньги я должен был отдавать родителям, но, разумеется, часть их утаивал. Получив за похороны 1 рубль 20 копеек, половину оставлял себе «на Яшку», на сласти. Я наслаждался: какое великолепное дело пение! И для себя огромное удовольствие, да и деньги еще платят, можешь ходить в балаган любоваться талантом Якова Ивановича Мамонова.

На рождество я, как все певчие, ходил «славить Христа», хором мы пели «Слава в вышних богу», концерт Бортнянского и трио «Мрачны ночи». Это понравилось хозяевам – нам дали полтинник; спели в другом месте – получили шесть гривен, и таким образом мы набрали за день рублей шесть. На святки хватит погулять.

Когда подходила пасха, я решил сам написать трио, взял скрипку, нотную бумагу и стал сочинять трио на слова «Христос воскрес из мертвых». Каким образом я научился играть на скрипке – об этом я расскажу потом. Мелодию придумал довольно быстро; не особенно затрудняясь, приписал и второй голос, потому что в моем представлении он должен был идти обязательно в терцию первому, но когда стал писать третий голос, образующий гармонию, то с великим огорчением услышал, что все у меня неверно, фальшиво. Я, конечно, не знал, что существует квинтовый круг, не знал тональностей и поэтому выставлял все знаки – диезы и бемоли перед каждой нотой. Однако, наладив кое-как второй голос, стал писать третий. Проверяю, – с первым голосом бас у меня сливается, а со вторым не выходит решительно ничего! Бился, бился и, наконец, одолел-таки всю премудрость – написал трио; оно звучало довольно верно, нравилось слушателям, и мы трое хорошо заработали «на Яшку».

Трио было написано лиловыми чернилами, что напоминает мне чью-то шутку:

Живя настроеньями новыми,
Исполненный новыми силами,
Сие знаменую – лиловыми
Отныне пишу я чернилами...
Мечты оказались вздорными,
А силы мои – очень хилыми,
И снова поэтому черными,
Как раньше, пишу
Я чернилами.

Мой композиторский опыт я долго хранил, но все-таки он пропал вместе с письмами отца и любимой моей книгой стихов Беранже в переводе Курочкина. Это была очень рваная книжка, без начала. Я нашел ее – странно сказать! – в клозете и всюду возил с собою долгие годы. Особенно нравилось мне стихотворение:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.